

**МЕТАФИЗИКА «СТРАННИЧЕСТВА»
В РОМАНЕ ВЛАДИМИРА ШАРОВА «РЕПЕТИЦИИ»**

«Странничество» всегда признавалось особым видом русского праведничества, важным элементом национального самосознания [1, с. 15]. Перемещение в «географическом» пространстве бродячих проповедников, старцев без пострига, калек переходящих было проекцией напряженного внутреннего труда, духовного «восхождения», обусловленного «чувством пути» (А. Блок) – взыскующим порывом к мистическому постижению «просвечивающегося» в нашем суетном мире мира иного, божественного Абсолюта. Для них «единственное дело только в том и состоит, чтобы вне всяких частных, земных дел искать и найти смысл жизни» [2, с. 14], в своем топографическом кружении-поиске уподобиться страннической жизни Господа Иисуса Христа, а значит – преодолеть внутреннюю «тюрьму», законы смертно-природного бытия. Конструктивно-содержательный каркас романа «Репетиции» В. Шарова как раз выстраивается на истории попыток его героев реконструировать евангельские «протосюжеты», воплотить в «наличном» бытии «первообразы». Такой исходный пункт внедрения микрокосмоса личности в макрокосмос Вечности, запредельной Реальности предопределяет причинно-следственные связи и мотивировки «рассказываемого события» (М.М. Бахтин), становится мощным генератором художественного смысла, идейно-эстетическим катализатором, придающим всему сюжетно-образному материалу универсальное онтологическое звучание.

Определяет вектор «подводного течения» сюжета многомерное семантическое обогащение хронотопа «дорога». Встраиваясь в ряд других пространственно-временных моделей («дом», «пороговая топография», «поле», «лес», «болото» и т. д.), этот хронотоп поднимает напряжение «энергетического поля» повествования от подножия житейской обыденности к вершинам осмысления бытий-

ных вопросов. В русском национальном самосознании «дорога» является универсальным концептом (жизнь как путь и человек как гость в этом мире, этнокультурная ассоциация «Россия – дорога» и т. д.). Как вертикаль «дорога» соединяет «царства» земного Вавилона и небесного Иерусалима, как горизонталь отражает поиск человеком различных возможностей самореализации в текущем потоке жизни. «Репетиции» мистерии героями романа как раз и есть «странствие» в тот особый круг бытия и сознания, осью которого является крест-пересечение горизонтали «вещного» пространства с сакральной пространственной вертикалью, соответствующей устремленности человека к Богу, и горизонтально-линейного, заземленного времени с вертикалью времени онтологического. Художественный мир романа оказывается удивительно разомкнут, «вход» и «выход» в нем широко распахнуты.

Духовную жизнь участников «репетиций» определяет именно «мерцающий диалог» между имманентным (эмпирико-психологическим) и трансцендентным (вне конкретно-чувственного человеческого опыта), индивидуально-личностным и сверхличностными ценностями. Перенос идеальных духовно-нравственных качеств на вещественно-биографическое акцентируется их «ролями» – по этому имматериальному путеводителю они стремятся к метафизическому преодолению границ дольного мира. Прямые и косвенные «намекы» на христианские архетипы, на универсальную этическую систему нравственно-поведенческих моделей личного и общественного поведения эксплицирует особый хронотоп, «растягивающий» историю жизни героев до времен новозаветных событий. Более того, в своем «странствии» они выходят за плоскость, создаваемую точками привычного триединства (прошлое, настоящее, будущее), в «нормальном» движении их биографического времени обнаруживается «вневременное зияние» (М.М. Бахтин). Конкретно-исторические обстоятельства жизни утрачивают статус единственной и непреложной реальности, в центр повествования выдвигается не типично «романная» проблема – Время в человеческой судьбе, но проблема, более присущая агиографии, – Время и

бытие. Писатель берет на себя задачу анализа действительности не столько на уровне социальной психологии, сколько родового миропонимания, притчеобразно моделирует человеческий мир как «сокращенную Вселенную» (В.В. Виноградов). С одной стороны, судьба его героев плотно «вписана» в социально-исторический контекст эпохи, с другой, они «репетируют-странствуют» во времени-пространстве того «визионерского» типа, которое характерно для структуры мифопоэтического мышления. При этом писатель избегает демонстративного раздвоения мира в глобальном контексте, не входит в сферу отвлеченных религиозно-метафизических проблем (вопросы о Божьем Суде, вечном блаженстве, примирении в человеке духовного и чувственного и т. д.), не «мыслит» в категориях догматического богословия, и даже отказывается от традиционной ориентации на православную этнопоэтику, онтологические основы «мистерии благословения русской земли», ее «крестонесения». Ввод в социально-историческую реальность новозаветных духовно-нравственных универсалий носит откровенно оксюморонный характер, что позволяет «сгустить» идейно-тематический комплекс повествования, представить авторскую модель национального бытия не только в его позитивных но и негативных моментах.

«Странствие» героев приводит их не только к выпадению из норм обычного течения жизни (ссылка в Сибирь в XVII в., «в пустыню отхождение» в веке XIX, «программные» убийства во время катастрофически расстроенной социореальности гражданской войны и сталинских «великих переломов»), но и к тектоническим сдвигам в духовном бытии. «Копирование» ими событий Священной Истории, попытки преодолеть временной водораздел обнаруживают западни и катастрофы в самой природе человека, «подражание» наиболее авторитетным морально-этическим образцам парадоксальным образом ведет к разрушению личности, но не к разрушению в ней зла. Если система «творческих» связей человека с миром надэмпирических ценностей предполагает стремление людей трудолюбивой души пройти через хаос разрушения старого внутреннего космоса к созданию нового, то

участники «репетиций» программно «опрокинуты» в сферу «вечных ценностей» невероятным замыслом патриарха Никона, настолько «заданы» сценарием Сергана, что утрачивают способность к духовному росту и развитию. Власть сектантского «мы» определяет особо безапелляционную устойчивость нравственно-поведенческих доминант их поведения, монолитность внутренних содержательных элементов. Они становятся «готовой сущностью» с ограниченным сознанием, «функцией мысли», обобщенной до некой человечности.

Участники «репетиций» при всем их сверхлично-абстрактном представлении о Добре и Зле вовсе не философы, «вопрошающие» у Священной Истории об идеально-духовных смыслах человеческого существования на земле, действительно взыскующие в своем «странствии» Града Небесного. Насильно направленные на «тесный путь» аскетического служения, они извращенно толкуют смысл своего аскетизма. Интенции их «странствия» определяет не вера в возможность изменить мир посредством религиозно-мистического преобразования личности, но ощущение зыбкости жизни, предчувствие близкого ее обрыва. Слыша за своей спиной дыхание Апокалипсиса, они хотят быть не с Кривдой, которая победила на земле, но с Правдой, которая уходит в пресветлые небеса. То, что, «странствуя», герои добровольно несут в себе Страшный Суд и настолько уверены в необходимости своего жертвенного служения, что утрачивают даже инстинкт самосохранения, представляет все трагическое в их судьбе как героическое. Однако их «формула героизма», приложенная внешним образом к жизни, нарушает естественное ее течение, приводит к ее «износу», смыслоутрате бытия. Они видят в смерти «невесту-утешительницу», обручение с которой сулит освобождение от земного плена. Возомнив, что судьба их есть тот самый малый свет, который вобрал в себя все величие евангельских истин, свое участие в «репетициях» они трактуют как особую взысканность вниманием Бога, свое «странствие» как дарование мессианских привилегий. Эпидемия бесовского самозванства при-

водит их к глобальному искажению подлинной евангельской «духовной нищеты», под покровом следования канве евангельской истории участники «репетиций» занимаются самоугождением. И это их «странствие» не просто абсурдно и печально: стремясь к реализации соблазнительной возможности быть «иудеями», «римлянами», «христианами», «апостолами», «волхвами», «люди жили, считая дни, когда откроется вождеденная вакансия. Когда же этот момент приходил, уверенные в своей правоте, они не останавливались ни перед чем (избиения, убийства, подкуп, доносы)» [3, с. 202].

Если главным ориентиром в «странствии» агиографических героев был «голос», позвавший их из «ничто», который человек должен в себе услышать, а услышав и обретя мужественную зрячесть своей греховной природы следовать к духовной радости очищения, то «странствие» героев романа ведет их по пути такого «самовоспитания», при котором утрачивается способность различения «верха» и «низа», добра и зла, духовного от его видимости. Их «странствие» приобретает такую конфигурацию религиозного жеста, при которой в силу амбивалентности сакрального/профанного он теряет всю свою духовную интенцию. Они становятся рабами не фатальных сил истории, но зла, таящегося в самом человеке. Власть темных сторон человеческой природы издевательски извращает самые высокие идеи, приводит к логическим перевертышам: сектанты уверены, что «иудейская вера была рождена не Авраамом, а христианством» [3, с. 188], «именно праведники в ответе за те страдания, которые есть в мире» [3, с. 212], «они убивали, считая, что невинноубиенному будет даже лучше, они помогают ему спастись» [3, с. 207] и т. д. В результате их «странствия» вертикаль, связывающая Творца и человека, обрушивается на землю.

Если не разделять, как исподволь предлагает читателю автор, географические и спиритуальные измерения, то возвышенность Новоиерусалимского монастыря, откуда они начинали свой путь, символизировала единение града земного и мира небесного, а место

завершения их «странствия», последний рубеж бытийного самоосмысления (поселение, окруженное непроходимым болотом) выглядит низвержением в «воронку» Зла, жерлом ада. То, что это место стало каторжным лагерем, для них «было благом, счастьем, свидетельством, что Господь помнит о них» [3, с. 247]. В этом «социальном пространстве» особенно отчетливо манифестированы приметы inferнального антимира, экзистенциального «вакуума». Представляя себя современниками Священной Истории, участники «репетиций» легко изменяют свой внутренний моральный кодекс согласно господствующим идеологическим установлениям, с энтузиазмом «встраивают» в свою «постановку» мистерии роли «кумов» и «стукачей» [3, с. 280] и, не смущаясь, параллельно репетируют агитационный спектакль «Христос-контрреволюционер». В «царстве необходимости» (С.Н. Булгаков) таких безблагодатных «репетиций» их «странствие» предстает гиперболическим выражением нравственно-этических вывихов в инертном и, вместе с тем, агрессивном массовом сознании, его самых болезненных сторон.

По словарю Даля, слово «странствовать» означает еще и «быть странным» – человеком, выпадающим из традиционных представлений о жизнеустройстве. «Странными» героев романа делает такое их «прочтение» евангельского текста, которое разрушает «антикварные» святыни, задушевную гармонию «наивных времен» народного христианского восчувствия мира. Писатель отнюдь не стремится этнически родственно опозитизировать житнетворчество русского человека, харизму народной души. Его «представители почвы» не похожи на тех традиционных для классической русской литературы обладателей духовно-нравственных достоинств, которые отмечены благочестивым вниманием к чистоте и порядку в своем внутреннем мире. «Странствие» героев романа приводит их к «выходу из отечества», национально-культурной «детерриторизации». Выпав из системы бытийно-онтологической православной русскости, они «создали ни на что не похожую общину, жили в окружении другого народа долгие годы, не смешиваясь и словно не замечая его» [3, с. 204].

Сектанты стремятся уподобиться тем «странникам убогим», которые, не имея своего дома, имеют Бога, но их «странствие» не вписывается в апокрифический контекст православного пасхального архетипа, связанного с народной верой в появление самого Христа именно на Руси. То, что каждый этап их жизненного пути, как подвига-страдания, невольно взвешивается на весах самых высоких субстанциальных категорий, втягивает их образы в «миф» о праведниках. Однако если за актом аскетического подвижничества-«странничества» агиографических героев стоит высокая идея воплощения этического и нравственного идеала в земной жизни, и они, не сливаясь с ней, тем не менее, не отлучали ее от себя (в созерцательно-мистической аскезе «стяжали» свет божественной любви, который изливался на падший мир), то трагическая мобилизация душевных сил героями романа не несет в себе залог Богообщения, поскольку не заключает в себе тот «глас любви», который ведет к жизнеутверждающим действиям, и, по сути, отрицает христианские представления о том, что Н. Лосский называл «абсолютным добром», а Н. Бердяев «абсолютной правдой». Находясь в иллюзорном («репетиционном») контакте с миром сакральных идей, стремясь поместить Спасителя в свое время, эти «горящие ко кресту» герои на самом деле уже не способны прозреть Его лик в силу атрофии нравственного сознания, тех чувств, которые собственно и составляют основной фонд духовной жизни человека. Маниакальное «копирование» ими новозаветной истории свелось к моделированию такой алогичной сверхреальности, конституция которой не предполагает духовно-практическое освоение мира. Их «странствие» приводит не просто к нравственному оскудению и катастрофическому умалению цены духовности, но к торжеству нетерпимости, эгоизма, злобной отъединенности человека от человека, преступлениям под маской самопожертвования. В полной мере раскрывает потенциал «отрицательных возможностей» «странничества» героев финальная ситуация «испытания смертью» – крайняя форма испытания на человечность.

Конфликты локальные и параболистические, социально-исторические и внутриличностные в художественном целом романа

В. Шарова не сосуществуют, но синтезируются в цельную поликонфликтную форму «странствия» героев. Однако метафизика «странничества», которая традиционно связана с историей восхождения личности к духовному совершенству, особой качественной определенностью жизни, в романе утрачивает энергию и идею первоначального посыла. Оксюморонное «перевыражение» евангельских сюжетных мотивов несет экспериментально-провоцирующую функцию, демонстрируя в сублимированном виде истоки и «механизмы» дегуманизации общества, «краха» человека. Полемично апеллируя к «естественной теологии» нации, «религиозному подтексту» русской культуры, писатель попытался на глубинном ценностном уровне продемонстрировать опасность извращения аксиологических основ общечеловеческого и национального бытия в ходе заранее спроектированных «репетиций-странствий», утвердить идею необходимости укоренения в контекст повседневной жизни самых высоких духовно-нравственных идеалов, возвращения к «архаическим» традициям евангельской этики.

Литература

1. Бердяев, Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев. – М.: Владос, 1990.
2. Франк, С.А. Смысл жизни / С.А. Франк. – Минск: Наука, 1992.
3. Шаров, В. Репетиции / В. Шаров – М.: ArsisBooks, 2009.